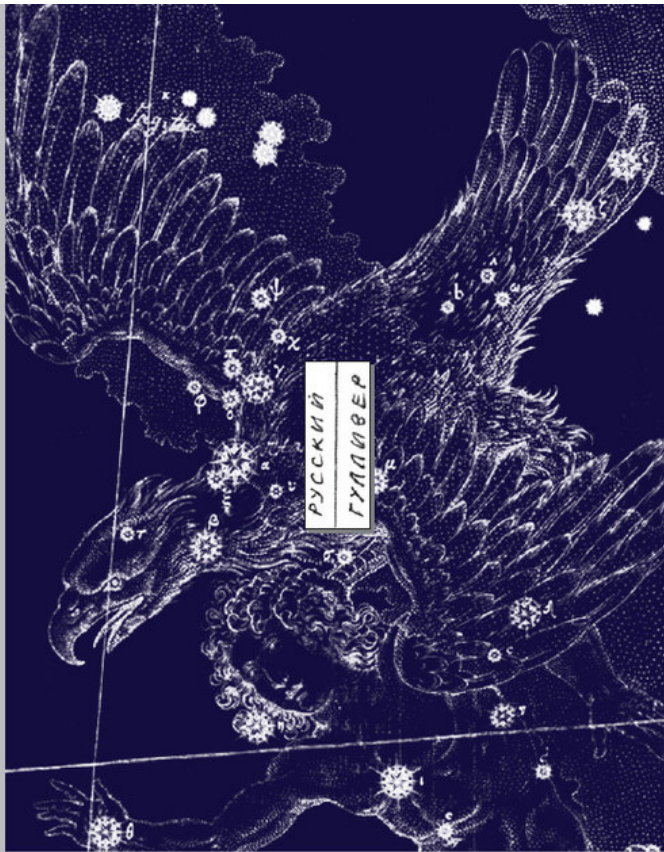


ФОТИС ТЕБРИЗИ



РУССКИЙ
ГУЛЛИВЕР

ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ
ЭРОСОВ

2009 СЕРИЯ
МЕМОРИАЛЬНАЯ



Фотис Тебризи

Черное солнце эросов

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27051533

Черное солнце эросов. Книга стихотворений :

ISBN 978-5-91627-029-7

Аннотация

Фотис Тебризи (монах Елисей) родился в Узбекистане (Самарканд, 1972), наполовину грек, наполовину русский. Провел несколько лет на горе Афон – древнейшем монашеском «полисе» в Греции, известном подвижнической практикой молчальников-исихастов, в послушании у знаменитого старца Симеона (†2001), который – случай небывалый – сразу принял странника в ученики и охотно передавал ему то, что постиг сам. Через некоторое время после смерти старца Тебризи покидает монастырь, и след его теряется.

Свободно писал на нескольких языках, включая греческий и русский. Поэзия Фотиса – поэзия полиглота. Огромное влияние оказал на его духовный и поэтический опыт великий суфийский поэт и визионер Руми, в честь друга и учителя которого, Шамса из Тебриза, взят псевдоним «Тебризи».

Фотис погиб в 2003 году в Турции.

Книга «Черное солнце эросов» – первая публикация из обширного наследия Фотиса.

Содержание

Территория солнца	6
«На берегу Ты снасти сушишь, Боже...»	20
«Почему я так нечист? Скажи, не скрой...»	21
«Плоть рвет душу мою...»	22
«Не думайте, что умерла любовь...»	23
«Я уже не тот, Господь...»	24
«Пой сладко, Давид, когда горько Саулу...»	25
«Как тяжелы последние слова.....»	26
«Среди цветов, что спят в жаре полудня...»	27
«Приди, как сиянье бирюзовых морей, залей небеса...»	28
«Мальчик, прииди, горнеликий...»	29
«Капельки дождя во вкрадчивом веяньи ветра...»	32
«Меня учил не унывать Владыка...»	33
Метаморфосис двенадцати котов	34
«Ко всей земле ревную я тебя...»	39
«Сказав мне “усни, засыпай, о ученый”...»	40
«Я с высей чистых ниспадаю вниз...»	41
«Когда о любви к тебе думал и думал...»	42
«Прекрасен серп луны над головою...»	43
«Взмахни крылами, пророк, упорхни мотыльком.....»	44

«Мучительная Страсть, тихая Любовь...»

45

Конец ознакомительного фрагмента.

46

Фотис Тебризи

Черное солнце эросов.

Книга стихотворений

Фотис Тебризи (монах Елисей) родился в Узбекистане (Самарканд, 1972), наполовину грек, наполовину русский. Провел несколько лет на горе Афон – древнейшем монашеском «полисе» в Греции, известном подвижнической практикой молчальников-исихастов, в послушании у знаменитого старца Симеона (†2001), который – случай небывалый – сразу принял странника в ученики и охотно передавал ему то, что постиг сам. Через некоторое время после смерти старца Тебризи покидает монастырь, и след его теряется.

Свободно писал на нескольких языках, включая греческий и русский. Поэзия Фотиса – поэзия полиглота. Огромное влияние оказал на его духовный и поэтический опыт великий суфийский поэт и визионер Руми, в честь друга и учителя которого, Шамса из Тебриза, взят псевдоним «Тебризи».

Фотис погиб в 2003 году в Турции.

Книга «Черное солнце эросов» – первая публикация из обширного наследия Фотиса.

Территория солнца

Знакомясь с поэзией Фотиса Тебризи (монаха Елисея, †2003), вспомним высказывание наблюдателя за литературами мира¹ о том, что лирик – легендарен, а эпик – анонимен. Это значит, например, что про жизнь Гомера нам ничего не известно, да и большого желания узнавать отчего-то нет, даже непонятно, жил ли такой человек на свете или это всего лишь некий условный образ и условное имя. А вот жизнь, скажем, Катулла, обрастает легендами и вымыслами и привлекает читателя не меньше, чем сами его, чудом сохранившиеся стихи. То же самое можно сказать про Франсуа Вийона, Сапфо или Есенина. В этот же светоносный и трагический отряд входит и Фотис – его жизнь и его стихи.

На сегодняшний день нам о нем известно немного: родился в Узбекистане (Самарканд, 1972), исконно мусульманской культурной территории, наполовину грек, наполовину русский, в один прекрасный день он появляется на горе Афон – древнейшем монашеском «полисе» в Греции, известном подвижнической практикой молчальников-исихастов, и проводит там несколько лет в послушании у знаменитого старца Симеона (†2001), который – случай небывалый – сразу принял странника в ученики и охотно передавал

¹ Г. Гачев.

ему то, что постиг сам.

Дальше идут картинки причудливо легендарные, интригующие и довольно-таки неправдоподобные. Его могли видеть вечером на краю обрыва, застывшего над морем в молитве, и наутро он оставался там же и в той же позе. Или стоял, обвешанный котами, как гирляндами – просто стоял и непонятно не то, зачем обвешался, а то, что они так и висели на нем, никуда не сбегая, словно вслушиваясь в общую с ним жизнь.

Потом, после смерти старца, покидает монастырь, оставив в келье и раздарив друзьям несколько толстых тетрадей со стихами (сборники «Солнце черных эросов», «Белоснежный Мальчик», «Путь монаха») и романом «Радость от победы над Танатом». Через некоторое время его находят в Турции на дороге, мертвого, как и положено страннику, которым он был, как и все они – Вийон, Хлебников, Мандельштам...

Все они были устроены так, что уходили не просто в тишину, а оставив взамен себя, как это первым сделал Липпевец, говорящее пространство, незримый световой короб, полный словами и музыкой – стихи.

Для того, чтобы правильной настроится на чтение стихов Фотиса, следует иметь в виду несколько простых вещей. Прежде всего – это поэзия духовная. Причем, это не просто «стихи о Боге», а скорее «роман в письмах», поэтический дневник непривычных, странных, неистовых и смиренных отношений бесконечной любви между человеком и Твор-

цом. Все стихи либо обращены в любовном признании к Возлюбленному, либо выстроены на фоне Его молчаливого присутствия. И это не «литература» – скорее стенограмма, синхронная озвучка в рифму и на бумаге происходящего, которое словом не взять, но совсем промолчать тоже не удастся, потому что мощь, которая входит в тебя вместе с Присутствием настолько переполняет и тебя и мир, что чувства при произнесении загустевают, как птичьи следы, в слова и знаки.

Это поэзия о Боге и больше ни о чем. А значит обо всем в мире – от всплеска волны до смертного хрипа. И слушают ее прежде всего те, среди которых и с участием которых эти строки возникали – целый bestiary земного рая – кошки, цикады, рыбы, осьминоги, мотыльки, бабочки, летучие мыши, львы, пантеры, кузнечики, змеи, газели, горлицы, пчелы. И мотыльки, и еще мотыльки, и опять они же. К этому еще стоит вернуться...

Тем не менее, поэзия послушника-странника возникла не в пустом культурном и поэтическом пространстве, а развернулась в русле трех великих культурных традиций – русской, греческой, и суфийской. Греческая, которая во многом предшествовала русской и во многом определила ее развитие, наделив литературным и книжным языками – прежде всего церковнославянским, вобравшим в себя синтаксис, поэтику византийских религиозных гимнов, – отзывается в поэзии Фотиса множеством многокорневых неологизмов, подобных

кальке с греческого из акафиста Божией Матери «благосеннолиственная», звучит именами героев Троянского эпоса, перекликается со знаменитой практикой «плетения словес», рожденной в византийских монастырях. Но тут следует сделать одно замечание. Если, скажем, величавый духовный эпос «Канона покаянного» св. Андрея Критского, выполненный в той же поэтической технике и звучащий во время приготовления к Великому Посту по всем русским церквам, если он устами своего автора и ведет повествование от первого лица, то это первое лицо достаточно расширено, достаточно космично для того, чтобы любой кающийся мог отождествить себя с ним. Проще говоря – оно условно, обобщенно. И каждый в церкви произносит эти строки про себя, как относящиеся уже не к грехам неведомого монаха, а к нему лично. Так же дело обстоит и в других образцах литературы «плетения словес», например, в книге «Скорбных песнопений» Григора Нарекаци, которую армяне до сих пор во время болезни, часто смертельной, кладут себе под подушки и выздоравливают.

Но у Фотиса – по-другому. Он, и только он, признается Творцу в любви, страдает от одиночества, ревнует, жалуется, сокрушается. Поставить читателя на его место это все равно, что поставить его на место Вийона или Цветаевой. То есть поставить-то, конечно, можно, но отождествить не удастся, очень уж личная история, да и нетипичная. И потом, кто же сейчас будет «подставляться» в историю не секса, не пламен-

ной даже влюбленности в очередную деву, а – в Бога? Такое шокирует.

Такое хорошо читать с помощью добротного комментария в Библии, в книге «Песнь Песней», такое всегда происходило давно и не с нами, происходило в сказках, мифах, смутно помнится, что с некоторыми отцами Церкви, в «изветшавших» библейских историях, да и то не часто, хоть в Библии и сказано, что «Бог есть любовь» и что эта любовь «сильна как смерть». Хоть в ней и сказано, что «если я любви не познал, то я медь звенящая и кимвал звучащий», одним словом – ничто, сплошная фальшь. Но кто же сейчас воспримет это безыскусно, вне литературного – понарошку – контекста? Применить это к себе? Да не сходите ж, Боже мой, с ума!

Поэтому я еще раз хочу напомнить, что главное у Фотиса не литература, а то, что ее порождает – неведомое, непостижимое, «черное солнце» – линия бесконечного совпадения и размежевания Бога и человека, линия подлинности, линия, которая отпечатывает след тебя настоящего, как линия волны отпечатывает границу суши и моря на Юрмальском песке.

И здесь Фотис перекликается сразу с двумя ветками христианской мистики – восточной, представленной творениями Дионисия Ареопагита и «Гимнами божественной любви»² св. Симеона Нового Богослова (тяготеющими, скорее, к

глубоко сверхличностным переживаниям, чем к субъективному, «сентиментальному» чувству) и очень личной поэзией и гимнографией западных христиан-мистиков – например, Хуана де ла Круса и Терезы из Лизье.

Из Греции же у Фотиса – благодатная Дионисическая волна, из которой выросла великая греческая трагедия – «виноград», предшествующий не только европейскому театру, но и по замечанию знатока античности профессора Ф. Ф. Зелинского, и самой христианской Литургии. Потому что, как писал Зелинский, тем, чем был для евреев Ветхий Завет, для христиан Европы была античная культура с ее мифами и мистериями, предчувствовавшими воплощение Сына Божиего.

Здесь хочется сказать о природе слова у Фотиса. XX век прошел под знаком обожествления речи и обоготворения слова. Эта тенденция была всего лишь продолжением Ницшевского «Бог умер», хотя и претендовала на новизну. Но вот что интересно – вслед за обожествлением слова, оно, это слово, эта речь стали утрачивать энергию и правду, стали утрачивать подлинность. Они уже не исцеляли тех, кто мог бы положить томик Дерриды или Нобелевскую речь Бродского под подушку.

ἔρωτες τῶν θεῶν ὕ

Вероятно, именно отсюда Фотис позаимствовал название для своего сборника стихов «Солнце черных эросов».

У Фотиса слово не Бог и даже не «бог» с маленькой буквы – это человеческое слово, человеческая речь – тайная или явная, стихотворная или устная, которая *пребывает на фоне Бога*. И в этой скромной позиции размежевания она обретает все большее достоинство и мощь. Эта мощь лишь возрастает, когда слова уходят, потому что они всего лишь человеческие, и в тишине, когда от мира отъято все лишнее, все лишние звуки и все внешнее, остается лишь бесконечная живая Пустота, немислимая сердечная глубина, в которой открывается Начало Начал и не кого-нибудь, а тебя самого заодно со всеми созданными Творцом мирами:

Любимый отец, да умолкнут слова,
Они затеяют все то, что познала душа.

Суфийская культура сквозит в форме многих стихотворений Фотиса, написанных в жанре восточной любовной поэзии, газели, во множестве персидских и арабских слов, в самом псевдониме Фотис Тебризи, отсылающим к великому суфийскому поэту Джалаледдину Руми (1207–1273), учителем которого был таинственный Шамс-э Табриз (†1242?). Но, самое главное – именно в практике суфиев на первом месте стоит пламенная любовь человека к личностному Богу, которого дервиш называет Возлюбленным или Возлюбленной, намеренно путая пол, а саму любовь – вином, что нам, христианам, достаточно близко по таинству Евхаристии, где

вино становится присутствием Бога-любви.

*Ты сладкое вино взрастил в лозе Своей,
Воздерживался я, но ныне не сумею.
Поет над Чашей нежно соловей.
Воздерживался я, но ныне не сумею.
Я безутешен был, склонился Ты ко мне.
Воздерживался я, но ныне не сумею.
Утешил Ты меня, душа моя в Вине.
Воздерживался я, но ныне не сумею.
Из глаз моих исчез, как аромат из роз.
Воздерживался я, но ныне не сумею.
В моей крови – Ты весь, щека влажна от слез.
Воздерживался я, но ныне не сумею.*

Поэтому многие банальности, вроде «вина любви», «жемчугов» или «кинжала» следует воспринимать не как дурновкусие поэта, а как опознавательные знаки великой восточной поэзии любви. И только так. И тут не стоит забывать, что автор был многоязычен и смещался в языковых пространствах, как вширь, так и из прошлого в будущее языков и литератур – как в одной, хотя и сложной территории. Вообще, поэзия Фотиса словно соткана не из прямых значений слов, а из слов-опознаваний, не хочется говорить, что символов, хотя задействована прежде всего символическая природа слов-обозначений. И все же «слов-опознаваний» будет сказать вернее. Кто же или что здесь опознается? Перворе-

альность. Бог. Глубина человеческого сердца. Великое Единое.

Я стоял на улочке Уран полиса.
Тихо тени сменяли день.
Ветер с моря смешался
С ароматами томных цветов.
Зной уступал дуновению,
Волнующему древо старой камелии,
Пунцовые цветы которой
Ждали Тебя, Возлюбленный.

Ветер, зной, древо, цветы – все эти слова-символы становятся опознавательными знаками, потому что предчувствуют присутствие Возлюбленного, присутствие Единого подлинного. Язык, сам язык поэта формируется, составляется и «прогибается» таким образом, чтобы он работал как сверхчуткий улавливатель и опознаватель этого Присутствия, и это происходит как на словарном уровне, так и на синтаксическом. Можно сказать, что речь поэта, ее состав и поэтика подстраиваются под внеязыковую волю экстатической, почти вакхической любви-влюбленности и тут же, по ходу дела формируются ей. И еще, что речь поэта подлаживается к Богу, как маска к лицу.

И только на этом фоне становится ясна поэтика Фотиса и его на ходу выстроенный небывалый, ни на что не похожий язык, который запросто может произвести впечатление

банального или искусственного, потому что пестрит романтическими штампами и невнятными экзотизмами. Но все они начинают играть совсем иной словесной гаммой цветов, иным спектром речи и природой, когда понимаешь их функцию опознавания. Чтобы сказать в тишине «я здесь» ведь неважно, в какие ладоши хлопнуть – грязные или пахнущие духами в перстнях храмовника или в шрамах кочевника. Опознай меня, Боже – я здесь!

Русская литература, традиция у Фотиса присутствует неявно и, прежде всего, в самом русском языке как вместилище невмещаемого – словесном полотне, на котором могут соседствовать еврейское имя Бога «Саваоф» и американская Грета Гарбо, суфийский дервиш и эллинистический Дионис. Он уже и не совсем русский – этот язык эмигранта. Как переводная проза Набокова. Скорее это индивидуалистическое эсперанто для разговора поэта и Бога, для восклицания поэта – о Боге.

Иногда трудно разобрать, где поэт обращается к Богу, а где к своему старцу Симеону. Не надо удивляться – это традиция единения человека с Богом, основа которой заложена Евангелием и развита христианскими богословами и отцами Церкви. Нам она, может быть, понятней, например, со слов Бердяева о том, что в человеческих глазах явлено и просвечивает как через тонкий занавес само запредельное.

Фотис – жил не в мифологическое время, он погиб всего несколько лет назад. И мне не хотелось бы сводить его дея-

тельность к литературе, потому что она была лишь следствием. Монах Елисей сделал то, что поэты не делают – он писал не о Боге, используя чужой опыт, создавая «текст» – он создавал самого себя, осуществляя личную встречу с Бездной Огня, с Самим Богом. Он отважился войти не в литературный диалог с Богом, а в личный контакт с Ним, переключаясь таинственными минутами встречи с Высшим – с Пушкинским «Пророком».

В поэзии Фотиса мало пейзажей, внешнего, а если они и есть, то осуществляют центростремительное движение, устремляясь к оси мироздания, к сердцу поэта, подобно котам, повисшим на нем и слушающим внутреннюю работу души. Самое главное свершается внутри нас, не снаружи, несмотря на то, что весь современный мир с его технократической и информационной цивилизацией вывернут как раз наружу, наизнанку, прочь от своей подлинности.

Глупец тот, кто взор сердца
Устремляет к подобью.
Только Первоисточник
Утешит любовью.

Бесконечные живые пространства распахиваются внутри сердца и перетекают в пространства космические.

О, стань же небом Ты моим, я – облаком в Тебе.
Я проплыву из уст Твоих в тишайшей быстроте...

Куда же летят мотыльки Фотиса?

Прильнувший к кубку, мотылек упал.

И в ночи трепет крыл сокрыла роща.

Есть несколько знаменитых строк о бабочках. Набоковское эффектное «мы – гусеницы ангелов» только перелицовывает то, что деловито констатировал Данте:

Вы не замечали, что мы гусеницы,

Рожденные для того, чтобы сделаться ангельской бабочкой,

Которая летит к ничем не заслоненному огню справедливости?

Огонь справедливости тут – Божие присутствие, Его любовь, – и человеческая душа изменяется для того, чтобы осуществиться и, вырвавшись из мира иллюзий, мира неподлинного, устремляется как мотылек в огненный маршрут, где все ненастоящее, не являющееся нами, сгорает в пламени подлинного бытия. Собственно, это маршрут прочь от посредственности, от внешнего мира тиражей, клише и копий, в котором живет современный «средний» человек – к бесконечным пространствам собственной души. Человеческое сердце создано вне ограничений, создано безмерным и поэтому ничем меньшим не может довольствоваться. Но для

этого нужно мужество – устремиться к огню Реальности. О том же строки Гете:

Миг – и вот, до света жадный,
Ты сгораешь, мотылек!
Если ж зов: «умри и стань!»
Спит в душе смиренной,
Ты лишь горестный пришлец
В сумрачной Вселенной.

«Стать», стать самим собой можно только в этом огне. И вот на фоне современных кинозвезд, фэшн-акций, глянца, автогонок, медиа-войн – этой сверкающей, но по Гете «сумрачной вселенной», возникает странная фигура поэта, проносящего нелепые горестные фразы о том, что *прильнувший к кубку мотылек упал*, – тоскующего и мечтающего о «поцелуе Бога». Нелепы эти фразы как раз тем, что это не очередная политкорректная литературная продукция, свойственная западному и восточному литературным процессам, а варварская констатация своей собственной правды.

Потому что на языке Фотиса «кубок» – это чаша Евхаристии, солнце Бытия, Сам Бог, Огонь, в который летит человеческая душа. И мотылек Фотис, прильнув к божественному Огню, сгорает не чтобы исчезнуть, а чтобы *стать*.

Конечно, с собой истинным встретится страшно, тем более с непостижимой глубиной, живущей в твоём сердце. На этом пути ждет «огненная смерть», к которой в дионисий-

ском (вакхическом) и ехаристическом порыве устремлен мотылек Фотиса, символ души. Поэтому... не стоит торопиться – нам привычнее умирать в дорожных авариях или от канцерогенных продуктов, от мыслей зависти, от ожирения, в радости от того, что обошли конкурента, от перебора алкоголя, смога, секса, от кока-колы. Нам привычнее умирать предписанной нам смертью. Заемной смертью, выкроенной по лекалам нынешней цивилизации. Ясно, что кроили ее во все не мы, как и собственную «сумрачную жизнь». Что ж, все же это не так нелепо и непонятно, как какая-то огненная смерть...

Газели, летучие мыши, львы, змеи, бабочки, коты Фотиса – кортеж Орфея, растерзанного вакханками, голова которого и после смерти слагала стихи и пророчествовала. Сердце Шопена продолжает звучать, замурованное в колонну Варшавского костела. Вероятно, трещина мира проходит не только по сердцу, но и по всему телу поэта, которое расчленяется, как Озирис, разрывается на части, упав на турецкой или какой другой дороге. И делается это для того, чтобы в огненном *становлении*, воссоединившись заново, соединить собой весь остальной мир, разорвавший тебя на части, как свое собственное тело, и сделать это уже на том уровне, который недоступен распаду.

Андрей Тавров

«На берегу Ты снасти сушишь, Боже...»

На берегу Ты снасти сушишь, Боже,
А я плыву в блистаньи гальки белой —
С потоком холодящим мрачных дней.
Все уловить меня пытаются, но тщетно.
Увидев небо, я умру в Твоих руках,
Как рыбка мелкая в песке морского берега.

«Почему я так нечист? Скажи, не скрой...»

Почему я так нечист? Скажи, не скрой!
Лунный взгляд в жемчуга спрятал Свой,
Падала роса на отроги, мотылек устал.
Коснись его перстом, подобным утру,
Роса почернела от черноты его крыльев.
Высуши влагу... Хотя бы один полет!
Душа нечиста, но трепещут крылья,
Тоскующие по бесплотной ладони
Саваофа, Спасителя мотыльков.

«Плоть рвет душу мою...»

Плоть рвет душу мою
У цветущего Парадиза.
И осыпаются розовые лепестки
В надрывном пении саза.
Отвернись, не смотри, Возлюбленный,
Как хрустят кости робких струн,
Рвущихся от неравной любви.

«Не думайте, что умерла любовь...»

Не думайте, что умерла любовь!
Через три дня она восстанет:
Мой череп жалкий лирой станет,
И заблестает молний вновь
Сияние в пустых глазницах.
Улыбка Бога отразится
В глазничных струнах, и весна
Ворвется в панцирь черепахи,
Где чистота начертит знаки
Перстами горними Христа.

«Я уже не тот, Господь...»

Я уже не тот, Господь!
Не впорхнет мотыльком в сердце эрос...
Не качнется волною в груди огонь,
Пылающий на цветах бессмертия...
Я уже близок смерти!
Я истлел от греховных бурь!
Но любовь все гнездится в развалинах
Так явственно, что смерть не страшна:
Так орхидеи вцепились
В умирающий камень руин.

«Пой сладко, Давид, когда горько Саулу...»

Пой сладко, Давид, когда горько Саулу!

Я подарю тебе златотканые одежды,
Нардом оботру мокрый от солнца лик,
Виссоном соберу пот.

Как горько Саулу!

Он к нежности песен привык!

Ты сильнее меня, Давид.

Чернь не зря вопит,

Что ты победитель.

Тихая обитель

Тебя со мною ждет.

Когда друг о Боге поет,

А первосвященник

В Скинии – «Аллилуйя»,

Копье метну я,

И оно поцелуем

Уста пробьет.

«Как тяжелы последние слова.....»

Как тяжелы последние слова...

Я думал, что скажу перед концом,

Когда тоска предсмертная

Найдет меня и схватит,

Или, как молния, похитит миг

Невозвратности.

Скажу: «хочу я быть Твоею пери, Боже»,

Нет, «без надежд любил Тебя всегда»,

Иль, «недостоин я, но Ты жалеешь

Таких, как я, Владыка». А быть может,

«Сведи меня в пустыни Ада, Боже,

За ручку, как ребенка, я боюсь».

Молчанье ужаса сплетется с миготом страсти

Тончайшей самой, и жестокой, и всеильной,

Пьянящей и беспомощной – к Тебе.

«Среди цветов, что спят в жаре полудня...»

Среди цветов, что спят в жаре полудня,
Порхают бабочки – их не тревожит вовсе
Заснувший ветер, похоронный ветер,
Гонящий сласть из молодого сердца,
Ведущий отблеск рыб в бурливом море
И шевелящий лист маслины тихой.
Играючи, порой по-детски резво,
Он плод сбивает смоковницы желтый.
А мотыльки цветов бутоны нежно,
Покрыв хитонем черным крыльев ломких,
Хоронят, чтобы в мраке распустились,
Вновь к жизни опоздав, цветы желаний.

«Приди, как сиянье бирюзовых морей, залей небеса...»

Приди, как сиянье бирюзовых морей, залей небеса.
Приди, падаю, балки шатки, шатки взоры,
Вырванные из сердца. Куда мне деться?
От Тебя никуда не деться. Мальчик сорвался в Пропась.
Вниз головой, между морем и камнем птицей:
Опьяненье стрижа. Облака так деликатны:
Гарбо позирует Саваофу, Грета, бедная Грета!
Улыбка, как сорвавшиеся балки,
Белоснежное Облако сохранит сердце,
На котором взор Бескровного Бога
Начертал бессмысленные слова песни ума,
Ума, нежнораненого возлюбленным Воином,
Искуснейшим Иисусом.

«Мальчик, прииди, горнеликий...»

Мальчик, прииди, горнеликий,
Утешь меня, исцеляя.
Мрачной чумою греха
Я исполнен, несчастный, неверный.
Мальчик Трисолнечный,
Беги побыстрей, светлоликий,
К горноухающим чашам.
Там тебя ждет несчастливец,
Исполненный мукой...
Сердце мое – одна рана,
Тело болит, а ум – полон проказы.
Ты знаешь ту «проказу»,
О коей я говорю.
Она такая «смешная»!
Многие неисцельно болеют ей
И никогда уж не смогут
Исцеление получить,
Царапая тайную язву ума.
Сердце мое растерзано
Тиграми Калидасы.
Перстами, подобными солнцу,
Исцели ее боль, уврачуй
Мое тленье и смертность.
Я в горячке лежу.

Ум мой покрыт
Горько-влажным туманом Аида,
Без Тебя охладели все члены...
О, разлучение с Тобой
Душа не сможет вкусить.
Звезды погаснут, и горы рассыплются в прах,
Танат выплеснет килик ума в бездну смерти.
Больше я не буду любим, и море любви обмелеет.
По нему пробегать будут тысячи, живущих после меня,
Забавляться песком золотым,
Уже не ласкаемым волнами Бога.
В шторм я иду к Тебе,
Разбивая валы пучины мягким мечем.
Еле волочусь,
Одев последний венок.
Бьюсь со всей страстью ума
За Твою откровенность,
Чтобы в близости жизнь улучить
От Твоего дыханья нетленного,
О, Бирюзовая Говорящая Волна:
Волна – Твой лик,
Волна – Твои руки и пальцы,
Ноги Твои – Волна, и предплечья,
Волны две – лодыжки, две Волны – щиколотки Царя-
Духа,
Волны – живот, Волна – нетленная грудь Тайны.
Пусть все хлынет
На меня! Ведь Волны...
Есть Дух.

В такую Бурю я уже не вернусь из Моря.
И буду смеяться над теми,
Кто плачет на берегу обо мне.
Смеяться от счастья и знать,
Что они не поймут,
Что в близости лишь
Жизнь улучшить возможно
От Твоего дыханья нетленного:
Дух есть дыханье Твое,
А уста Твои – Двери для Духа.
Ключ Единый к Дверям —
Отца Твоего нежная душа,
Самая нежная душа Бога,
Потопившего колесницы Фараона,
Приставшие к моим смертным щиколоткам.
Ты сбил их Великой Волною,
Колесницы разлучения с Тобою,
Чернокрылый Отец в черном хитоне непостиженья,
Отрок светоуханногиацинтовокудрый, внезапный.

«Капельки дождя во вкрадчивом веянии ветра...»

Капельки дождя во вкрадчивом веянии ветра.
Мотылек перестал биться, сбивая с крыльев пыльцу.
Он распят. Завтра он станет Солнцем,
Которое стало Мотыльком и распялось.

«Меня учил не унывать Владыка...»

Меня учил не унывать Владыка,
Хотя другие бросили, увы,
Гнушаясь смрадом от моих одежд.
Лишь Он мне лил на слипшиеся кудри
Ценнейший мускус, так что забывал
И вспоминал я то, что сокровенно.
И нет другого таинства, поверь.
Лишь Бог со страстную любовью бесстрастной,
Лишь Бог с необоснованной, безликой,
И безлюбовной страстию любви!

Метаморфосис двенадцати котов

Неизбывною жизнью болею,
Тщетно в мире взыскуя надежду,
Но к руинам пичужною трелью
Ты зовешь меня, Знаемый прежде.
Мы в подвалах резвились, искали
Пропитанье: кузнечиков, змей,
И было такое незнание знания
Сильней и смелей...
Зрочки как горчичные семена.
Нам давали призрачные имена:
«Марлен Дитрих», «Полосатый убийца»,
«Райский котик», «Плюшка», «Рыжий»,
«Серый», «Кеша», «Пряник»,
«Утешение блох», «Внезапный»,
«Змеелов преискусный Вакхишка»,
И «Прекраснохватящий мышку».
Мы порхали порфирно, острые когти впуская
В плоть рубиностеклянную мышей,
Лягушек и змей веероюрких.
Раз иной добывали кузнечиков,
Горных цикад – перламутровоглазых певуний,
А бывало, и птах быстрокрылых
В трепете низвергали в траву.
Люди в уединенной горной пустыне,

Отшельники калив бессмертных,
Мальчишки-созерцатели из песка
Нам давали
Дар морской лозы, пленительно соленой,
Хотя вовсе безвкусной,
Плод пучины блистающей моря:
Октоподов, супьезок бросаю,
Требуху морских дивных животных.
И вот мы, радостный клич издавая,
Заглушающий Патроклоахилловы кличи,
Наподобие дудочек иерихонских,
Бросались к исполненной миске.
Наша жизнь была мигом пред Богом,
Но Господь изменил нас, как камни, обьяв:
Манна нежная пала, как египетской земли
Оранжевый прах. Бог нас в хлеб превратил,
Нежно-мягкий, будто бы пир уготовив ума.
Мы воскресли с мертвым умом,
Глубоколиким, прекрасноуханным:
Строй котов, строй мужей совершенных,
Мужей непорочных, жрецов.
– Но как было то? – Сумею ль поведать, Панкаллий?
Лучше же Калистом я нареку тебя,
В речи искусный, прекрасный.
Десять лет ты скрывал нашу тайну.
И вот, на пороге отшествия в небо
Ты расскажи ее всем нам в ночи,
Что луною обьята, виннолунным сияньем.
– Слушай же, бедный, зовомый теперь Елисеем.

«Зябликом» кличут тебя, «Бутузóm»
И «Фантомноумершим»,
Я, Панкаллий, уже окрыленный и когти
Выпустивший божественного желанья:
Мышь небесную дивной мысли о Боге
Ловким прыжком расставания с плотью
Исхитить готовый
Из житниц священных учений.
О, тучна эта мышь!
И я утучнюсь крылатой и легкой Любовью!
Вот, начинаю песнь надмирных мелодий:
«Горы охвачены тишиною: горный сумра́к
Стал их ветром, аврою мглистой,
Томящей и пробуждающей цветы,
Дабы златоуханными голосами
Возвеличили над пустынею моря
Любовнопленительный Логос.
Видели мы, как спустился к нам тот,
Кто «Скалой» наречен и полон
Бескровножреческих гимнов, крылатый,
Старец с Нектарной Планеты – Христа,
Тень Тысячесолнечного Отца.
Вот, явилась тень его, тихая тень,
Ласково к земле припадая,
Скала смотрела на нас
Очами божественного Леопарда.
О, старец, в очах сокрывающий бездну.
Как скала, источал он мирру любви,
Липкую, как мед поцелуев Льва.

Льва от колена Давида-царя,
Льва, распятого и воскресшего
Из пещеры тенистой Гефсимании...
О, шумело море под нами,
Вспыхивали падающими звездами
Сумрачные горы... Он звал нас
На нашем языке... – Мяу-мяу...»
Я, толкователь жалкий, произрекаю:
«“МЯУ” – “М<ой> Я<хве> У<враг души>”»...
О, божественными улыбками просияли
Наши кошачьи уста и, о чудо,
Мы встали на задние лапы,
Все, как один, в ряд, как сыны пышнопоножных Ахейцев,
Так пожелал Бог, мы лики обрели человечесьи
И обступили его, увенчанного простым Трисветлым
Птеротом,
Иноки, чины ангелов новые...
И обнял он нас: «Дети мои...»
А море билось крылами голубя,
Искрилось под ветром наших восторгов...
Стали восторги объятьями тайных ущелий.
Гимн мы воспели новый и чистый
Сияющему Саваофу, Льву Саваофа
И Голубю Саваофа, милого Отца:
«Воспойте, горы! Винная гроздь солнца,
Источись в кубок ущелий, утоли
Нашей Любви страстное биенье!
Мы сошлись с отцом для таинственных
Жертв Тебе, бескровных, благоуханных.

Бескровный жрец воздел руки над чашей,
И умы наши стали чашей бескровной.
И запели небесных чинов сладкие безличья:
«Боже, Боже, Ты безбрежен.
Сыноотцова Любовь, Ты безбрежнонежен.
Отцесыновний Эрос, верен любимым своим.
Отцесынодухожеланен, безликий.
Благоуханноотцесынодухонепостижимопрекрасноplenитель
Ныне прошло уже сто тысяч лет с того мига.
На Планете Сладчайшей мы все.
Только ты, Елисей, задержался.
И все не обретаешь узорчатого хитона.
Десять лет я молчал, и еще десять тысяч лет...
Но вот, усладил вас беседою сладкой.
Я, Панкаллий, певец Сияющей Ночи.»
Для ума, цветущего...

«Ко всей земле ревную я тебя...»

Ко всей земле ревную я тебя,
О мой отец, о Новый Илия,
Уснуло море, наша страсть не штиль:
Уже изрек пророчества Вефиль.
Я страсть нездешнюю, как знамя над главой,
Поднял высоко – сын и призрак твой.
И если мой оставишь облик ты,
От розы колкой отвратив персты,
Жених воспримет облика черты,
И облик твой, окутав сердца свет,
Подарит мне любовь безбрежных лет,
Во мгле обнимут двое пустоту:
Ведь пустота есть Плоть, тебе не лгу,
И ты, познав желанье Пустоты,
Мне молвишь: «Ты уже не ты...»,
И крови причастишь меня Своей,
Шепча любовно: «Новый Елисей...»

«Сказав мне “усни, засыпай, о ученый”...»

Сказав мне «усни, засыпай, о ученый»,
И молвив, что пестрые сны радужночерных Желаний
Могут быть сладкими, как Патриарха «Осанна»,
Огненнонежные луны янтарных бесстрастий,
Никнувших в росы чаш упоительных Бога, —
Исторгнув жало тоски, разъедающей душу,
Дивной оливковой ветвью коснулся меня ты:
Искусней ран, жесточайших и тихих,
Острых и громких уколов Небесного Бога,
Нежнотездешнежеланно задевшего сердце,
Искр Его многовидных ответов,
Скрывших обласканного в пучине,
Илонетленного Нила, где ласточки тают,
Йоту соклеывая святую
Липкомедовых словес Белоснежного лика
Юного МальчикуБога, Кем был я обласкан,
Болью упившись горячки Любовной...
Отчесокрытые черные тайны вбирая,
Вернобезликим отцом был я обласкан:
Икры в пляске покрылись венками...
Мягкость любви застелила безбрежность галактик.
Сердце теперь двояко единовидно стучит: «тук-тук».

«Я с высей чистых ниспадаю вниз...»

Я с высей чистых ниспадаю вниз,
В Твои бесстрастные объятия, Боже,
Но я – страданья капля, не Иблис.
А Ты... как куст, что рос принять не может.

Твои цветы, незримые для рос,
Всё убегают от моих желаний
Укануть в них, и ливнем бурных слез
Сбежать с вершин в морскую глубь признаний.

Я капля. Ты – бескрайний океан,
Безвидный, что подобен Солнцу Ночью.
Дай мир летящим в прах костям,
Ведь плющ желанья сплелся с ними прочно.

Слеза вне слез близка Твоим слезам.
И кто останкам грешника поможет, —
Руинам, балкам и сухим камням
Когда-то плоти любящего, Боже?

«Когда о любви к тебе думал и думал...»

Когда о любви к тебе думал и думал,
Я понял: любовь всего мира есть дудочка только,
На ней же играет Сам Дух, через тень твою, трудно
изречь,
Слова подобрать и тот образ, что это опишет,
Там ночь нависала весенняя, полная тайны,
В тот миг я почувствовал – Небо Ночное сказало:
«Мой Симеон, только Мой! Не дерзай познать это
мыслью!»
Я испугался величья глаголов нетленных,
Боголюбовеявляющетонкотаинносиянных,
Ревностнонепостижимосверхлюбовнопалящих,
Истступленнокротчайших и сладкоуханных...

«Прекрасен серп луны над головою...»

Прекрасен серп луны над головою,
Мы снова как-то встретились с тобою,
Как лев пустынный зарычав во мгле,
Ты сердце сына призывал к себе.
А я, бежал, взволнованный от счастья,
И я увидел: это ты отчасти...
А ты расправил руки, как крыла
Далекого бессмертного орла,
И кистей воск согнув от жара неба,
Ты воспорхнул туда, где смертный не был:
И ты позвал меня к себе смиренно,
И серп луны плыл к сердцу прикровенно,
И севши, бедный, во ладью златую,
Я плыл к тебе и все еще плыву я,
Хоть прах мой ветры тайно разбросали
На грядь отрогов, где мы отдыхали.

«Взмахни крылами, пророк, упорхни мотыльком.....»

Взмахни крылами, пророк, упорхни мотыльком...
Я услышу трепет крыл твоих, луна заплачет,
Как перевернутая чаша неопишуемой любви.
Улыбнись, пророк, прости, что я подступил так близко
К твоей тайне. Крылья тонки, как лучей волоски, и...
Неведение мое о тебе, называющее себя «любовью».
Я зрел полет твой, тихий, как «слабость» ума...
Ты покинул ум, пророк, чтобы научить меня,
Что Божественная любовь иная, чем
Все мои отражения, кусочки янтаря в ладонях.
Все раны сердца ты, взлетев, исцелил:
Я видел, как летал мой отец,
Стремясь к безвидной страсти высочайшей болезни.
Болезнью зову цветонетленную Любовь,
Которой меня учат твои опьяняющие движенья.

«Мучительная Страсть, тихая Любовь...»

Мучительная Страсть, тихая Любовь,
Зажгла мои персты, что спали.
И вот, Он явился к преступнику,
Явился совершенно неявно, как Бог, явным
Ветром Безветрия...
Грешник пытался уклониться, но не смог!
Смягчил он уста, не знавшие поцелуев уст,
И вот я, Его тихий смертник, плача, ломаю калам,
Но ты, послушник, в нежнейшем желаньи
Не утетишь главу раненого льва,
Чья лапа в ангельской деснице
Почувствовала кольцо обручения,
Мучительную страсть потери
Его черных покровов, Его сладостных силков!
Припади к моим губам в первый день моей смерти,
И ты почувствуешь свободу раба, златокудрых брат,
милый!
Ты отпрянешь, свобода раба непереносима!
Так я тщетно сжимал в объятьях древо

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.